



Госпожа Бовари



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Мы сидели в классе, когда вошел директор в сопровождении «новичка», одетого в городское платье, и классного сторожа, несущего большой пюпитр. Кто спал, проснулся, и каждый встал с таким видом, словно его отвлекли от работы.

Директор подал нам знак сесть; потом, обращаясь к классному наставнику, сказал вполголоса:

— Господин Роже, рекомендую вам нового ученика; он поступает в пятый класс. Если своими занятиями и поведением он будет того заслуживать, мы переведем его в старшее отделение, где ему и следовало бы числиться по возрасту.

Стоявший в углу, за дверью, так что его едва было видно, новичок оказался выросшим на деревенском воздухе парнем лет пятнадцати, ростом всех нас выше. Волосы у него были подстрижены в скобку и падали на лоб, как у сельского причетника; лицо выражало рассудительность и крайнее смущение. Он был вовсе не широк в плечах, но куртка зеленого сукна, с черными пуговицами, должно быть, резала в проймах; а из обшлагов высовывались красные руки, не знавшие, очевидно, перчаток. На ногах, обтянутых синими чулками, болтались высоко вздернутые подтяжками желтоватые панталоны. Обут он был в грубые башмаки, подбитые гвоздями и плохо вычищенные.

Учитель начал спрашивать заданные уроки. Новичок слушал во все уши, напрягая внимание, как на проповеди, не смея даже положить ногу на ногу или облокотиться на стол, и в два часа, когда раздался звонок, нужно было его окликнуть, чтобы он стал с нами в ряды.

У нас был обычай — при входе в класс бросать фуражки на пол, чтобы сразу освободить себе руки; нужно было с порога комнаты зашвырнуть шапку под скамью, ударив ее предварительно об стену и подняв при этом как можно больше пыли: это считалось у нас «шиком».

Не заметил ли новичок этой проделки или же не посмел принять в ней участие — но молитва уже кончилась, а его фуражка все еще лежала у него на коленях. То был сложный, в смешанном

стиле, головной убор, в котором можно было различить составные части и меховой шапки, и кивера, и круглой шляпы, и котикового картуза, и ночного колпака, — словом, один из тех убогих предметов, немое безобразие которых глубоко выразительно, как физиономия дурака. Яйцевидной формы и натянутый на китовый ус, этот головной убор покоился на трех концентрических колбасах; затем, отделенные красной полосой, чередовались ромбы из бархата и кроличьего меха; далее следовал род мешка, кончавшийся многоугольником, подбитым картонкой и покрытым сложную вышивкой из сутажа, а с него на длинном, тонком шнурке свисала маленькая кисточка из позумента в виде желудка. Фуражка была новенькая; козырек блестел.

— Встаньте, — сказал учитель.

Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал.

Он нагнулся, чтобы ее поднять. Сосед ударом локтя вышиб ее у него из рук; он поднял ее снова.

— Да расстаньтесь же с вашей каской, — сказал учитель, большой остряк.

Раздался оглушительный хохот учеников, так сбивший с толку бедного малого, что он уже совсем не знал, что делать ему с фуражкой: оставить ли ее в руках, положить ли на пол или надеть на голову. Он сел на место и положил ее к себе на колени.

— Встаньте, — сказал учитель, — и скажите мне, как ваша фамилия.

Новичок дрожащим голосом пробормотал непонятное имя.

— Повторите!

Послышалось то же бормотание слогов, заглушаемое гиканьем всего класса.

— Громче! — крикнул учитель. — Громче!

Тогда новичок с последнею решимостью раскрыл непомерно рот и всею грудью гаркнул, словно кого-то звал: «Шарбовари!»

Сразу поднялся шум, усилился в оглушительный гам со взрывами пронзительных выкриков (ученики выли, лаяли, топали ногами, повторяя «Шарбовари! Шарбовари!»); потом рассыпался отдельными нотами, то чуть затихая, то охватывая вдруг целую скамью, на которой то здесь, то там, как плохо потушенная шутиха, вспыхивал подавляемый хохот.

Однако под градом штрафных задач порядок в классе мало-помалу восстановился; и учитель, наконец усвоив имя Шарля Бовари, — после того как он заставил его себе продиктовать, называя букву за буквой, и произнести вслух, — приказал бедняге пойти и сесть на скамью лентяев, у ступеней кафедры. Тот двинулся было, но прежде, чем направиться к месту, вдруг обнаружил нерешительность.

— Чего вы ищете? — спросил учитель.

— Фураж... — робко произнес новичок, беспокойно оглядываясь.

— Пятьсот стихов всему классу! — Эти слова, прогремевшие яростным ревом, остановили, подобно «Quos ego», новую бурю. — Сидите же смирно! — продолжал учитель в негодовании, отирая лоб платком, вынутым из шапочки. — Что касается вас, новопоступивший, то вы напишите мне двадцать раз *ridiculus sum*, во всех временах. — Потом прибавил более мягко: — Фуражку свою вы найдете; никто ее у вас не крал!

Все притихло. Головы склонились над тетрадами, и новичок сидел два часа образцово, несмотря на то что время от времени шарик жеваной бумаги, пущенный с кончика пера, летел и шлепал ему прямо в лицо. Он только вытирался рукою и продолжал сидеть неподвижно, потупив глаза.

Вечером, в классной комнате, он вынул из пюпитра нарукавники, привел в порядок свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, что он работает добросовестно, отыскивает каждое слово в словаре, не жалеет труда. Без сомнения, благодаря этому проявленному им старанию он не был переведен в низший класс, чего следовало бы ожидать, потому что хоть он и знал сносно правила, зато обороты его речи не отличались изяществом. Обучал его начаткам латыни сельский священник в той деревне, где он жил, так как родители, во избежание лишних расходов, желали отдать его в гимназию как можно позже.

Отец его, Шарль-Дени-Бартоломэ Бовари, отставной военный фельдшер, заподозренный в 1812 году во взяточничестве при рекрутском наборе и принужденный около этого времени покинуть службу, воспользовался своею привлекательною наружностью, чтобы подцепить на пути, при перемене карьеры, шестидесятитысячное приданое, представившееся ему в лице дочери шляпного торговца, которая влюбилась по уши в молодцеватого военного. Видный собою, хвастун и враль, он звонко позвякивал шпорами, носил бакенбарды, сливающиеся с усами, унизывал пальцы перстнями, предпочитал в туалете яркие цвета и соединял осанку храбреца с развязностью коммивояжера. Женившись, он прожил два-три года на средства жены, кушая вкусно, вставая поздно, курия из длинных фарфоровых трубок, проводя вечера в театре, шатаясь по кафе. Тесть умер, оставив после себя весьма немного; он пришел в негодование, пустился в промышленность, потерял деньги, потом удалился в деревню, где решил сам хозяйничать. Но так как он смыслил в сельском хозяйстве столько же, сколько в ситцах, ездил верхом на лошадах, вместо того чтобы посылать их в работу, вышивал свой сидр бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, съедал лучшую живность с собственного птичьего двора и смазывал

охотничьи сапоги салом собственных свиной, то вскоре увидел, что ему лучше бросить всякую надежду на доходы.

За двести франков в год нанял он в одной деревне на границе Пикардии и Ко полуферму-полуусадьбу; огорченный, тревожимый поздними сожалениями, обвиняя небо и завидуя всем и каждому, в сорок пять лет он замкнулся, набив себе оскомину от людей, как говорил он сам, и решив жить на покое.

Жена его когда-то была от него без ума и доказывала это в тысяче проявлений рабской покорности, которая его еще более от нее отвратила. Некогда веселая, общительная, любящая, она стала под старость (как откупоренное вино, которое превращается в уксус) сварливой, визгливой, раздражительной. Сколько выстрадала она безропотно, когда видела его бегающим за каждой деревенской юбкой или когда его привозили к ней по вечерам из всевозможных притонов, пресыщенного и пьяного!

В ней заговорила гордость; она замолкла, глотая свою злобу с немим стоицизмом, который сохранила до самой смерти. Она была непрерывно в бегах, в хлопотах. Ходила к адвокатам, к председателю, помнила сроки векселей, вымаливала отсрочки; а дома целые дни гладила, шила, стирала, присматривала за рабочими, платила по счетам, меж тем как барин, ни о чем не хлопоча, погруженный в ворчливую дремоту, от которой пробуждался только, чтобы говорить ей неприятности, курил трубку у камина и плевал в золу.

Когда у нее родился ребенок, пришлось отдать его кормилице. Получив малыша обратно, мать стала баловать его как принца. Она закармливала его сладостями, а отец заставлял бегать босиком и, разыгрывая философа, говорил, что он мог бы ходить и совсем голый, как детеныши зверей. Наперекор стремлениям матери он лелеял в своей голове некий идеал мужественного воспитания, согласно которому и старался возрастить сына, требуя применения спартанской суровости, дающей телу должный закал. Он клал мальчика спать в нетопленной комнате, учил его пить залпом ром и высмеивать крестные ходы. Но, от природы смиренный, тот туго поддавался отцовским усилиям. Мать постоянно таскала его за собой, вырезала ему фигурки из бумаги, рассказывала сказки, изливалась перед ним в нескончаемых монологах, полных меланхолической веселости и болтливой ласки. В своем одиночестве она перенесла на ребенка все свое обманутое тщеславие и разбитые надежды. Она мечтала о его будущем высоком положении и видела его уже взрослым, красивым, остроумным, служащим в министерстве путей сообщения или в судебном ведомстве. Выучила его читать, писать и даже — под аккомпанемент старого рояля, который у нее был, — петь два-три романа. В ответ на это господин Бовари, нисколько не увлекшийся словесностью, говорил, что все это «потерянный труд».

Разве у них когда-нибудь хватит средств воспитать сына в казенном учебном заведении и купить ему должность или торговое дело? К тому же «бойкий человек всегда пробьется в жизни». Госпожа Бовари кусала губы, а ребенок бродяжничал по деревне.

Он ходил за землепашцами, и комьями земли гонял ворон, собирал по канавам ежевику, стерег с хворостиной в руке индюшек, ворошил на лугу сено, бегал по лесу, прыгал на одной ноге с товарищами по плитам церковной паперти в дождливые дни, в праздники умолял пономаря о разрешении ударить в колокол, чтобы всем телом повиснуть на толстой веревке и «ощутить», как она уносит тебя в пространство.

Зато он и вырос как молодой дубок. У него были крепкие руки и здоровый румянец.

Когда ему минуло двенадцать лет, мать настояла на том, чтобы его отдали в учение. Образование его было поручено местному священнику. Но уроки были так мимолетны и случайны, что не могли принести большой пользы. Они давались урывками, в ризнице, на ходу, второпях между крестинами и похоронами; или же священник посылал за своим учеником, когда уже отзвонили *Angelus* и ему никуда не предстояло идти. Оба поднимались наверх, в комнату юре, и усаживались; мошки и ночные бабочки кружились вокруг свечи. Было жарко, ученик засыпал; да и сам наставник, сложив на животе руки, вскоре уже храпел с раскрытым ртом. Иной раз священник, возвращаясь от больного при смерти на деревне, которого только что напутствовал, встречал Шарля, занятого какими-нибудь шалостями в поле, подзывал его к себе, отчитывал с четверть часа и пользовался случаем, чтобы заставить его тут же, под деревом, проспрягать глагол. Их прерывал дождь или проходящий мимо знакомец. Впрочем, учитель был доволен учеником и говорил даже, что у «молодого человека» хорошая память.

Воспитание Шарля не могло остановиться на этом. Госпожа Бовари оказалась настойчивой. Пристыженный или, скорее, утомленный ею, господин Бовари уступил без сопротивления; но решили пропустить этот год, когда мальчик готовился к первой исповеди.

Прошло еще шесть месяцев; и год спустя Шарль окончательно был отдан в Руанскую гимназию, куда отец повез его сам в конце октября, в пору Сен-Роменской ярмарки.

Трудно было бы теперь кому-нибудь из нас припомнить о нем что-либо особенное. Мальчик был он смиренный, игравший в перемену между уроками, внимательно сидевший в классе, крепко спавший в дортуаре и плотно кушавший в столовой. У него был в городе знакомый — оптовый торговец железом на улице Гантри, который брал его в отпуск раз в месяц по воскресеньям; когда лавка

запиралась, посылал его прогуляться в гавань поглазеть на корабли и в семь часов, к ужину, приводил обратно в гимназию. Каждый четверг, вечером, Шарль писал матери длинное письмо красными чернилами и с тремя облатками. Окончив письмо, он повторял свои записки по истории или читал старый том «Анахарсиса», валявшийся в классной. На прогулках любил разговаривать со сторожем, человеком деревенским, как он сам.

Благодаря прилежанию он числился в посредственных учениках; однажды получил даже похвальный лист по естественной истории. Но по окончании третьего класса родители взяли его из гимназии, предназначая сына медицинской карьере и полагая, что степени бакалавра добьется он собственными силами.

Мать нашла ему комнату в пятом этаже, на Робекской набережной, у знакомого красильщика. Она сама сторговалась о плате за его содержание, достала необходимую обстановку — стол и пару стульев, выписала из деревни старую кровать черешневого дерева и в довершение купила маленькую чугунную печку и запас дров, чтобы дитяtko не мерзло. Потом через неделю уехала — после многократных наставлений и увещаний вести себя хорошо, так как отныне он уже вполне предоставлен самому себе.

Расписание лекций, прочтенное на стенной афише, вызвало у Шарля нечто в роде головокружения: курс анатомии, патологии, физиологии, фармации, химии, ботаники, клиника, курс терапевтики, не считая гигиены и фармакологии, — все это были сплошь непонятные имена неведомого происхождения и которые представлялись ему входами во святилища, полные таинственного мрака.

Он ничего не понимал во всем этом; и сколько ни слушал, не схватывал ничего. А между тем работал, записывал лекции в переплетенные тетради, не пропускал ни одного курса, ни одного обхода. Он выполнял свой ежедневный труд как рабочая лошадь, которая должна кружиться в приводе с завязанными глазами, не зная, для какой надобности она топчется на месте.

Чтобы не вводить сына в ненужные расходы, мать каждую неделю доставляла ему с посыльным кусок жареной телятины; вернувшись утром из больницы, он принимался за свой холодный завтрак, стуча об стену подошвами. Потом предстояло бежать на лекции, в анатомический театр, в госпиталь и возвращаться домой через весь город. Вечером, после скудного обеда у хозяина, он опять уходил наверх, в свою комнату, и принимался за работу, сидя перед накалившеюся докрасна печкой, от жара которой дышилось на нем его промокшее платье.

В ясные летние вечера, когда теплые улицы пустеют, когда служанки играют в волан у дверей домов, он отворял окно и облакачивался на подоконник. Речка, превращающая этот квартал Руана

в маленькую грязную Венецию, текла внизу, желтая, лиловая или синяя, между мостами и перилами. Рабочие, сидя на корточках на берегу, обмывали в воде руки до плеч. На шестах, торчавших с чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. Прямо перед глазами, за крышами домов, сияло огромное чистое небо с заходящим красным солнцем. Как должно быть хорошо там, за домами! Какая свежесть под буками! И он раздувал ноздри, готовый вдохнуть запах полей, но запах не долетал...

Он похудел, вытянулся, и лицо его приняло жалобное выражение, от которого стало почти интересным.

Случилось как-то само собою, по беспечности, мало-помалу, что он почувствовал себя наконец свободным от всех принятых было решений. Раз он пропустил обход, на другой день не пошел на лекцию и, войдя во вкус лени, перестал вовсе посещать курсы.

Он привык к трактиру, пристрастился к игре в домино. Сидеть по вечерам взаперти в душевой, грязной зале заведения и стучать по мраморному столику бараньими костяшками с черными очками представлялось ему драгоценным доказательством независимости и возвышало его в собственном мнении. То было словно посвящение в светскую жизнь, доступ к запретным наслаждениям; и, входя, он брался за ручку двери с какою-то почти чувственной радостью. Тогда многое, что он подавлял в себе, вдруг вышло наружу; он заучил наизусть куплеты и распевал их первой встречной женщине, стал восторгаться Беранже, научился варить пунш и, наконец, познал любовь.

Благодаря этим подготовительным работам он провалился на лекарском экзамене. А в тот вечер его ждали дома, чтобы отпраздновать успешное окончание курса!

Он пустился в путь пешком, остановился на задворках деревни, вызвал мать и рассказал ей все. Она его простила, отнеся неудачу на счет несправедливости экзаменаторов, и несколько подбодрила его, взявшись все уладить. Только через пять лет Бовари-отец узнал истину; но за давностью она уже потеряла значение, и он примирился, уверенный во всяком случае, что человек, родившийся от него, не мог быть дураком.

Шарль снова засел за работу и на этот раз без перерыва подготовил все, что требовалось для испытания, заранее вызубрив наизусть все вопросы. И он прошел с удовлетворительной отметкой. Счастливый день для матери! Она устроила торжественный обед.

Где же предстояло ему применять свои знания? В Госте. Там был всего один врач, и притом старик. Госпожа Бовари давно уже выжидала его смерти; и старичок еще не успел убраться, как Шарль поселился на противоположной стороне улицы в качестве его премника.

Но воспитать сына, обучить его медицине и отыскать место для его врачебной практики было еще не все: нужно было его женить. Мать нашла ему подходящую супругу: вдову пристава из Диеппа, ей было сорок пять лет от роду, и она получала тысячу двести ливров годового дохода.

Правда, госпожа Дюбюк была некрасива, суха как щепка, и прыщей на лице у нее было столько, сколько у весны почек на деревьях: все же она могла быть разборчивой невестой. Чтобы достичь своей цели, Бовари-мать должна была устранить других женихов и даже довольно искусно разрушила происки одного колбасника, которого поддерживало духовенство.

Шарль ожидал от брака перемены своего положения к лучшему, воображал, что будет чувствовать себя более свободным и располагать как захочет своей особой и своими деньгами. Но он оказался под башмаком у жены: должен был на людях говорить об одном, молчать о другом, поститься по пятницам, одеваться по вкусу супруги и по ее приказу торопить пациентов, медливших заплатить по счету. Она распечатывала его письма, следила за его действиями, подслушивала в часы приема за перегородкой, когда он принимал в своем кабинете женщин.

Нужно было приносить ей утренний шоколад и ухаживать за ней с бесконечной бережностью. Она непрестанно жаловалась на нервы, на боль в груди, на общее дурное самочувствие. Звук шагов беспокоил ее; когда все уходило, ее тяготило одиночество; если к ней приближались, это было, разумеется, затем, чтобы смотреть, как она умирает. По вечерам, когда Шарль входил в спальню, она протягивала из-под одеяла свои длинные, худые руки, охватывала его шею и, усадив его на край постели, принималась поверять ему свое горе: он забыл ее, он любит другую! Ей предсказывали, что она будет несчастна... И кончала просьбой: дать ей ложку какого-нибудь снадобья — и чуточку больше любви.

II

Однажды ночью, около одиннадцати часов, они были разбужены топотом лошадиных копыт перед их домом. Прислуга отворила слуховое окошко на чердаке и некоторое время переговаривалась с человеком, стоявшим внизу, на улице. Он приехал за доктором, с письмом. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице и стала отмыкать замок, отодвигать засовы. Приезжий оставил лошадей у крыльца и, идя вслед за служанкой, оказался позади нее в спальне. Из шерстяной шапки с серыми кисточками он достал письмо, завернутое в платок, и бережно подал его Шарлю, обло-

котившемуся о подушку, чтобы читать. Настази держала возле постели свечу. Барыня, из чувства стыдливости, лежала, повернувшись лицом к стене и спиной к присутствующим.

Письмо, припечатанное синим сургучом, содержало просьбу немедленно прибыть на ферму Берто, чтобы вправить сломанную ногу. От Тоста до Берто — добрых верст шесть проселком, через Лонгевиль и Сен-Виктор. Ночь была темная. Молодая Бовари опасалась, как бы с мужем чего не случилось. Было решено, что посланный поедет вперед, а Шарль тронется в путь тремя часами позднее, когда взойдет луна. Ему вышлют навстречу мальчика, который покажет ему дорогу на ферму и отопрет ворота.

Около четырех часов утра Шарль, плотно закутанный в плащ, выехал на ферму Берто. Еще не очнувшись от теплой неги сна, он отдавался баюкающему покачиванию спокойной рыси. Когда лошадь вдруг останавливалась у обсаженных колючками ям, вырытых по краю межей, Шарль спростонья вздрагивал и, тотчас же вспомнив о сломанной ноге, перебирал усилием памяти все известные ему случаи переломов. Дождь прошел; занималась заря; на голых ветвях яблонь недвижно сидели птицы, топорща перышки под холодным утренним ветром. Плоские поля расстилались, куда хватал глаз, а купы деревьев вокруг ферм, с широкими промежутками, пятнали черно-лиловыми пятнами необъятную серую равнину, сливающуюся на горизонте с пасмурным небом. Порою Шарль открывал глаза; но вскоре мысль утомлялась, его одолевала дрема, он погружался в оцепенение полусна, где недавние впечатления смешивались с воспоминаниями и сам он двоился, представляясь себе одновременно и студентом, и женатым, то спящим на супружеской постели, как несколько минут тому назад, то шагающим, как некогда, по операционному залу. Горячий пар компрессов смешивался со свежим запахом росы; ему слышалось позвякивание железных колец у больничных кроватей и дыхание спящей жены... Подъехав к Вассонвиллю, он увидел мальчика, спящего на траве у края канавы.

— Вы — доктор? — спросил ребенок.

Услышав ответ Шарля, он взял деревянные башмаки в руки и побежал перед ним.

По дороге, из разговоров с проводником, лекарь сообразил, что старик Руо был, должно быть, один из самых зажиточных сельских хозяев. Он сломал себе ногу накануне вечером, в крещенский сочельник, возвращаясь с соседской пирушки. Жена его умерла два года тому назад. С ним жила «барышня» — дочь, помогавшая ему вести хозяйство.

Колени стали глубже вблизи фермы. Паренек, юркнув в дыру среди живой изгороди, вдруг исчез и появился снова на дворе,

чтобы отпереть ворота. Лошадь скользила по мокрой траве; Шарль нагибался, проезжая под ветвями. сторожевые псы лаяли у конур и рвались на цепях. При въезде в Берто лошадь вдруг чего-то испугалась и шарахнулась в сторону.

Ферма являла вид достатка и порядка. В конюшнях, через отворенные двери, видны были сильные рабочие лошади, мирно жующие овес из новых колод. Вдоль строений тянулась, дымясь тонким паром, широкая полоса навоза, а на ней, среди кур и индюшек, поклевывали зерна пять-шесть павлинов — роскошь нормандских птичьих дворов. Овчарня была длинная, рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга с кнутами, хомутами и полною упряжью; на их синие шерстяные покрывки сыпалась из амбара тонкая пыль. Покатый двор был обсажен, через ровные промежутки, деревьями; у маленького пруда весело гоготали гуси.

Молодая женщина, в голубом мериновом платье с тремя оборками, встретила врача на пороге дома и ввела в кухню, где пылал веселый огонь. У огня варился людской завтрак в горшочках разной величины. Мокрая одежда сушилась над очагом. Лопатка для угольев, щипцы, мехи — все было огромных размеров и блестело металлическими частями, вычищенными как зеркало; а длинные полки были уставлены обильною кухонною утварью, отражавшею неровным блеском и яркое пламя очага, и вместе первые лучи заглянувшего в окно солнца.

Шарль поднялся по лестнице в комнату больного. Он лежал в постели, обливаясь потом под одеялами и далеко отбросив в сторону бумажный ночной колпак. То был малого роста толстяк, на вид лет пятидесяти, с белой кожей, голубыми глазами и лысиной ото лба; в уши были продеты серьги. Возле него на стуле стоял большой графин водки, из которого время от времени он наливал себе стаканчик для бодрости; но при виде доктора его возбуждение упало, и вместо того, чтобы ругаться, как он ругался целых двенадцать часов перед тем, он стал тихо стонать.

Перелом был простой, без всяких осложнений. О более легком случае Шарль не смел и мечтать. Вспомнив приемы своих учителей у постели больных, он старался подбодрить пациента всевозможными остротами, этими хирургическими ласками, похожими на масло, которым смазывают скальпель. Для лубков послали за дранью в сарай. Шарль выбрал одну дранку, разрезал ее на куски и отполировал ее стеклом, пока служанка рвала простыни на бинты, а барышня Эмма шила маленькие подушечки. Так как она долго искала свой швейный несессер, то отец рассердился; она ничего не ответила; но, принявшись за шитье, несколько раз колола себе пальцы и подносила их ко рту, чтобы высосать кровь.

Шарля поразила белизна ее ногтей. Они были блестящие, суживающиеся к концам, глаже диеспских изделий из слоновой кости, и подстрижены в форме миндалей. Руки ее, однако, не были красивы, — быть может, недостаточно бледны, с суховатыми суставами пальцев; кроме того, они были слишком длинны, в их очертаниях не было мягкости. Прекрасны были ее глаза: карие, они казались из-под ресниц черными, и взгляд ее был устремлен на собеседника прямо, с чистосердечною смелостью.

Когда нога была перевязана, господин Руо сам пригласил доктора подкрепиться едой перед отъездом.

Шарль сошел в большую комнату нижнего этажа. Два прибора, с серебряными кубками, ждали на накрытом к завтраку столике неподалеку от широкой кровати под пологом из ситца, с изображениями турок. Запах ириса и сырых простынь распространился от высокого дубового шкафа, стоявшего против окна. По углам были свалены рядами на пол мешки с хлебным зерном — излишек, не поместившийся в соседнюю кладовую, куда вели три каменные ступеньки. Украшением комнаты служила голова Минервы, в золоченой рамке, посредине стены, выкрашенной в зеленую краску, но облупившейся от селитры; под карандашным рисунком были выписаны готическими буквами слова: «Дорогому папаше».

Сначала поговорили о больном, потом о погоде, о стужах, о волках, что рыскают по полям ночью. Барышне Руо жилось в деревне невесело, особенно теперь, когда на нее одну свалились все хлопоты по ферме. В доме было свежо; зубы ее за едой постукивали от холода, причем слегка приподымались ее полные губы, которые она имела привычку кусать в промежутки молчания.

Шея ее выступала из белого отложного воротничка. Черные волосы, уложенные на голове двумя густыми бандо, как бы сделанными из одной сплошной массы — до того они были гладки, — разделялись посреди головы узким пробором, выдававшим линию черепа; оставляя едва открытыми кончики ушей, они сливались на затылке в пышный шиньон, обрамлявший виски волнистыми локонами, чего деревенский врач еще ни разу в своей жизни не видел. Щеки у нее были розовые. Между двух пуговиц лифа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Когда Шарль, зайдя к старику проститься, опять сошел вниз, готовый пуститься в путь, он застал девушку у окна; прислонясь лбом к стеклу, она смотрела в сад, где ветер опрокинул подпорки на грядах бобов. Она обернулась.

— Что-то ищете? — спросила она.

— Виноват, я оставил здесь хлыст, — ответил он. И принялся шарить по кровати, за дверьми, под стульями; хлыст завалился у стены за мешки с зерном.

Эмма увидела его и нагнулась над мешками. Шарль, из вежливости, бросился туда же и, протянув руку, почувствовал, что грудь его коснулась спины молодой девушки, нагнувшейся перед ним. Она выпрямилась, с зардевшимся лицом, и, взглянув на него через плечо, подала ему плетъ из бычачьей жилы.

Вопреки обещанию быть в Берто через три дня, доктор навесит больного на другой же день; потом стал приезжать два раза в неделю неуклонно, не считая случайных посещений в неположные сроки и как бы невзначай.

Все, впрочем, шло прекрасно; выздоровление подвигалось правильно, и когда через сорок шесть дней соседи увидели, как дядя Руо собственными силами ковыляет по своей «лачуге», на Бовари стали смотреть как на весьма даровитого медика. Старик Руо говорил, что первые врачи Ивето и даже Руана не могли бы вылечить его успешнее.

А Шарль и не задумывался над вопросом, почему он с такою радостью ездит в Берто. Если бы он над этим подумал, то, вероятно, приписал бы свое рвение серьезности случая или, быть может, надежде на хорошее вознаграждение. Но неужели поэтому поездки в Берто составляли столь пленительное исключение среди скучных занятий его жизни? В эти дни он вставал раним-рано, пускал лошадь в галоп, соскочив с нее, вытирал ноги о траву и, прежде чем переступить порог, натягивал на руки черные перчатки. Он любил, въезжая на двор фермы, задевать плечом открывающуюся вовнутрь калитку, слушать крик петуха на заборе, быть встреченным выбежавшей прислугой. Ему нравились рига и конюшни, нравился старик Руо, хлопавший его в ладонь для дружеского рукопожатия и величавший его своим спасителем; нравился и стук деревенских башмачков Эммы по чисто вымытым плитам кухни: высокие каблуки увеличивали ее рост, и когда она шла перед ним, деревянные подошвы, быстро подскакивая, щелкали о кожу ботинка.

Она всегда провожала его до первой ступеньки крыльца и ждала, пока ему подведут лошадь. Они уже попроцались и больше не разговаривали; ветер играл выбившимися завитками волос на ее затылке или крутил вокруг ее стана завязки фартука, развевавшиеся, как вымпелы. Однажды в оттепель, когда кора на деревьях была мокрая, а снег на крышах таял, она вышла на крыльцо с зонтиком в руках и раскрыла его. Сизый шелк, пронизанный солнцем, бросал беглые тени на ее белую кожу. Под ним она улыбалась мягкому теплу; и слышно было, как капли одна за другой падали на туго натянутую ткань.

Когда Шарль только что начал ездить в Берто, молодая Бовари каждый раз осведомлялась о больном и в своей приходно-расход-

ной книге отвела господину Руо прекрасную чистую страницу. Но, узнав, что у него есть дочь, понавела справки; оказалось, что барышня Руо, воспитывавшаяся в монастыре у урсулинок, получила, что называется, «образование» — училась танцам, географии, рисованию, умела вышивать, играла на фортепиано. Этого еще недо-ставало!

«Вот почему, — догадывалась она, — он так расцветает, когда едет к ней; вот зачем надевает он новый жилет и не боится испортить его под дождем! Ах эта женщина! Эта женщина!..»

И жена Шарля слепо возненавидела Эмму. Сначала вырывались у нее только намеки, но Шарль не понимал их. Потом она перешла к общим размышлениям на родственные темы. Шарль безмолвствовал, опасаясь бури. Наконец, отвела себе душу в брани напрамик; обвиняемый не знал, что ответить.

«Зачем это он все норовит завернуть в Берто, когда Руо давно здоров? Благо бы деньги платили; а с них еще ничего не получено. Ага! Причина та, что там есть одна особа — светская девица, ученая, рукодельница! Так вот чего ему нужно: ему понадобились городские барышни!»

И начинала сызнава:

— Как, это дочка-то Руо — городская барышня! Скажите пожалуйста! Да у них дед пастухом был, а двоюродный брат едва не попал за буйство под уголовщину. Не стоит, казалось бы, напускать на себя столько важности и выплывать по воскресеньям в церковь в шелковом платье, ни дать ни взять — графиня! К тому же, если бы не прошлогодняя репа, бедняга едва ли справился бы с недоимками!

Шарлю надоело это слушать, и он прекратил поездки в Берто. Элоиза заставила его присягнуть, положила руку на молитвенник, что он больше туда не поедет: она рыдала и в бешенстве любви осыпала его несчетными поцелуями. Он покорился; но отвага его желаний бунтовала против его рабского поведения, и с каким-то наивным лицемерием он счел в душе, что запрет видеться дает ему право любить. К тому же вдова была суха, у нее были длинные зубы и круглый год она носила черный платок, кончик которого свешивался между лопатками; ее жесткий стан с плоскими бедрами был обтянут узким и слишком коротким платьем, которое открывало ее щиколотки с завязками широких башмаков, скрещенными на серых чулках.

Мать Шарля навещала их время от времени и через несколько дней уже плясала под дудку своей невестки; тогда вдвоем принимались они пить его своими внушениями и отчитываниями. Ему не следует так много есть! К чему угощать каждого встречного вином? Какое упрямство не носить фуфайки!

В начале весны случилось, что нотариус из Ингувиля, хранитель капиталов вдовы Дюбюк, в один прекрасный день, обещающий попутный ветер, пустился в дальнейшее плавание, увезя с собою все деньги, вверенные его попечением. Правда, у Элоизы кроме доли в торговом судне, оцениваемой в шесть тысяч, был еще дом на улице Св. Франциска; но из всего ее состояния, о котором так много трубили, еще ничего не оказывалось в хозяйственной наличности, если не считать кое-какой мебели да тряпок. Надобно было вывести все на свежую воду. Дом в Дьеппе был заложен и перезаложен: долги подточили его до последней балки. Какие суммы хранились у нотариуса, один Бог ведал, а доля в судне не превышала тысячи экю. Итак, милая барынька изволила налгать! В ярости Бовари-отец сломал о пол стул, укоряя жену за то, что она погубила сына — запрягла его на всю жизнь с клячей, у которой сбруя не стоит шкуры. Оба приехали в Тост. Начались объяснения, сцены. Элоиза в слезах кинулась на шею мужу, умоляя защитить ее от его родных. Шарль за нее заступился, родители рассердились и уехали.

Но удар был нанесен. Неделью спустя, когда она развешивала белье на дворе, у нее пошла горлом кровь, а на другой день — Шарль в эту минуту, отвернувшись от нее, задергивал оконную занавеску — она вскрикнула: «Ах, боже мой!», испустила вздох и лишилась сознания. Она была уже мертва! Какая неожиданность!

Когда все было кончено на кладбище, Шарль вернулся домой. Он никого не застал внизу; поднялся в комнату жены, увидел ее платье, висевшее у алькова, в ногах кровати, и, облокотясь о письменный стол, просидел до вечера в грустном раздумье. Как-никак, она все же его любила!

III

Однажды утром явился к Шарлю старик Руо и принес ему плату за лечение ноги: семьдесят пять франков, монетами в сорок су, и индюшку в подарок. Он слышал о его горе и принялся утешать его, как умел.

— Знаю сам, что это такое! — говорил он, хлопая его по плечу. — Сам был в вашем положении! Как схоронил покойницу, все, бывало, норовлю забрести подальше; брожу в поле, чтобы глаз мой никого не видел; брошусь наземь, под деревом, плачу, призываю Господа Бога, всякий вздор Ему говорю; и зачем я, мол, не этот крот, у которого черви брюхо съели, — хочу, дескать, издохнуть. А как подумаю, бывало, что вот другие сидят себе в эту самую минуту со своими женками да целуются, — палкой по земле коло-

чу со злобы; чуть что разумом не рехнулся; не ел, не пил; о трактире и вспомнить противно, поверите ли? И что же бы вы думали, мало-помалу, потихоньку да полегоньку, день за днем, за зимой весна, за летом осень, крошка за крошкой, капля за каплей, — отошло оно, горе-то, разошлось, что ли, будто на дно осело хочу я сказать, потому что как-никак, а все ж остается что-то внутри человека, тяжесть какая-то на груди! Но ведь уж это, так сказать, общая всем участь, и нельзя, знаете ли, себя изводить; другие умирают, так и я, мол, тоже хочу... Встряхнуться вам надобно, господин Бовари, оно и пройдет! Приезжайте-ка к нам; дочь вас время от времени, знаете, поминает, говорит так, что вы ее совсем забыли. Скоро весна; на охоту вас потащим — кроликов стрелять, это вас порассеет.

Шарль последовал его совету. Он приехал в Берто и нашел все по-старому, словно он побывал здесь накануне, а минуло целых пять месяцев. Груши уже цвели, и добряк Руо, будучи ныне в полном обладании своими ногами, сновал без усталости туда и сюда, что придавало ферме немалое оживление.

Считая долгом оказывать доктору особливую вежливость, ввиду его горестного положения, он то и дело просил его не снимать шляпы, говорил с ним вполголоса, как с больным, и даже притворился рассерженным, что для него не приготовили какого-нибудь особого, более легкого кушанья, как, например, крема или компота из груш. Он рассказывал анекдоты. Шарль поймал себя несколько раз на проявлениях неуместной в его положении веселости; он вспоминал о жене, и смешливость сменялась угрюмой сосредоточенностью. За кофе он уже забыл о своем трауре.

По мере того как он привыкал жить один, все реже думал он о покойнице. Новая прелесть независимости была отрадой его одиночества. Он мог теперь по произволу менять часы обеда и завтрака, уходить из дому и возвращаться, не давая в этом никому отчета, а утомясь, вытягиваться на постели во всю длину своего тела и во всю ширину кровати. Он нежился, холил себя и выслушивал утешения, с которыми к нему приходили. С другой стороны, смерть его жены оказала некоторую услугу его врачебной практике, так как целый месяц все повторяли: «Ах, бедный молодой человек! Какое несчастье!» Имя его стало более известным, число его пациентов увеличилось; к тому же он мог ездить в Берто когда ему вздумается. В нем жила какая-то беспредметная надежда, он испытывал неопределенное счастье; разглаживая перед зеркалом бакенбарды, он находил, что лицо его стало как-то приятнее.

Однажды он приехал на ферму около трех часов пополудни; все были в поле; он вошел в кухню и сначала не заметил Эмму: ставни были закрыты. Сквозь их щели протягивались по полу длинные,

тонкие полосы света, ломались по углам мебели и дрожали на полке. На столе по невымытым стаканам ползали мухи и с жужжанием тонули в остатках сидра. Свет проникал через трубу, и сажа на плите казалась бархатистой, а остывшая зола слегка голубела. Между окном и очагом сидела Эмма и шила; она сняла козынку; на ее обнаженных плечах выступали капельки пота.

По деревенскому обычаю, она спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он отказался, она настаивала и наконец, смеясь, предложила ему осушить с нею рюмку ликера. Вынула из шкафа бутылку кюрасо, достала две рюмки, наполнила одну до краев, а в другую чуть капнула и, чокнувшись с ним, поднесла ее ко рту. Так как рюмка была почти пуста, она, чтобы ее опорожнить, закинула голову назад и, вытянув шею и протянув губы, смеялась, что в рот ей ничего не попадает, и кончиком языка, высунутым из-за красивых зубов, лизала дно рюмки.

Она уселась вновь и принялась за работу — за белый нитяный чулок, который штопала; работала она нагнув голову, не произносила ни слова, и Шарль тоже. Воздух снаружи, задувая из-под двери, гнал пыль по плитам; Шарль глядел на эту влекущуюся пыль и слышал только, как стучит у него в висках да кудахчет издали, на дворе, насадка. Эмма порой, чтобы освежить себе щеки, прикладывала к ним ладони рук и опять остужала ладони на железном шаре каминной решетки.

Она стала жаловаться, что уже с начала весны чувствует головокружения; спросила, не помогут ли ей морские купанья; потом заговорила о монастыре, а Шарль о своей гимназии, и слова для беседы нашлись. Оба поднялись наверх, в ее комнату. Она показала ему свои старые тетради нот, книжки, полученные ею в награду, венки из дубовых листьев, брошенные на дно шкафа. Еще она говорила ему о своей матери, о кладбище и даже показала в саду грядку, с которой рвала цветы в первую пятницу каждого месяца, чтобы отнести их на ее могилу. Но садовник ничего не умеет; у них такая плохая прислуга! Ей хотелось бы по крайней мере зимой жить в городе, хотя летом деревня, пожалуй, еще скучнее: день тянется без конца... И, смотря по тому, о чем она говорила, ее голос делался то звонким и высоким, то вдруг обволакивался томностью и в замедленных переливах понижался почти до шепота, словно она говорила сама с собой — то радостная, с наивно раскрытыми глазами, то опуская веки, со взглядом потухшим и скучающим, с выражением рассеянно блуждающей мысли.

Вечером, возвращаясь домой, Шарль перебирал по очереди все фразы, ею сказанные, стараясь восстановить их в памяти и дополнить их смысл, чтобы представить себе ту пору ее жизни, когда он еще не знал ее. Но ему не удавалось вообразить себе ее иною,

чем какую он увидел ее в первый раз или какую только что оставил. Потом он задумался над тем, что с нею станется, когда она выйдет замуж, — и за кого выйдет? К сожалению, старик Руо богат, а она... так красива! Лицо Эммы постоянно всплывало перед его глазами, и какой-то однозвучный голос, как жужжание волчка, твердил ему на ухо: «А почему бы тебе самому не жениться? Почему бы нет?» Ночью он не мог спать, что-то сжимало ему горло, хотелось пить; он встал, чтобы напиться из кувшина, и отворил окно; небо было усеяно звездами, проносился теплый ветерок, вдали собаки лаяли... Он поглядел в сторону Берто.

Решив, что, в сущности, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово сделать предложение, как только представится к тому случай; но всякий раз, когда случай представлялся, страх не найти приличествующих слов зажимал ему рот.

Старик Руо был не прочь стянуть с шеи заботу о дочери, которая была ему плохого помощницей в хозяйстве. В душе он оправдывал ее, находя, что это дело не по такой умнице, как его дочь, — проклятое дело, так как из сельских хозяев еще ни один не сделался миллионером. Сам он не только не богател, но еще ежегодно терпел убытки: торговать, правда, был он мастер и находил особенное удовольствие в хитростях ремесла; зато земледelec и хозяин был плохой. Расхаживал, заложив руки в карманы, не рассчитывал издержек на жизнь, не отказывал себе ни в чем: любил хорошо есть, мягко спать, жить в тепле. Ему нужны были крепкий сидр, кровавый ростбиф, подолгу сбивавшийся кофе с ромом. Обедал он один, на кухне, близ огня, за столиком, который ему приносили уже накрытым, как в театре.

Заметив, что у Шарля разгорались щеки в присутствии его дочери, что означало, что, того и гляди, он попросит ее руки, старик заранее обо всем поразмыслил. Правда, он находил Шарля немного «легковесным»: не такого себе зятя он бы желал; зато лекарь слыл человеком добропорядочным, бережливым, знающим свое дело, и нельзя было ожидать, что он станет торговаться о приданом. А так как дяде Руо приходилось продать двадцать два акра своей земли и заплатить долги каменщику и шорнику, да еще предстояло ставить новый вал в давальне, то он сказал себе:

— Коли попросит ее руки — куда ни шло, отдам!

К празднику Михаила Архангела Шарль приехал в Берто погостить дня на три. Уж и последний день прошел, как и первые; с часа на час он все откладывал объяснение. Старик пошел его провожать; шли они по выбитой дороге, собирались уже проститься; наступала решительная минута. Шарль дал себе срок до угла изгороди и, когда завернули, наконец пробормотал:

— Дядя Руо, мне хотелось бы вам кое-что сказать.

Остановились. Шарль молчал.

— Ну говорите же, что вы там хотели! Неужто я и сам не знаю, в чем ваше дело? — сказал Руо, посмеиваясь.

— Дядя Руо... дядя Руо... — бормотал Шарль.

— Что ж, я с своей стороны весьма рад, — продолжал фермер. — Девочка, конечно, со мной не заспорит, а все же, знаете, надо и ее спросить. Идите-ка себе домой; и я тоже. Коли она согласна, то — слушайте хорошенько — вам не следует возвращаться к нам, чтобы не будоражить народ, да к тому же и она взволнуется. Но чтобы вы не мучились, я откину ставень у окна настезь, распахну его до стены: издали увидите, стоит только перегнуться через изгородь.

Он ушел.

Шарль привязал лошадь к дереву, побежал в кусты; стал ждать. Прошло полчаса, потом он насчитал еще девятнадцать минут по своим часам. Вдруг раздался удар об стену; ставня распахнулась, и задвижка еще дрожала.

На другой день, в девять часов, он был уже на ферме. Когда он вошел, Эмма покраснела, стараясь для приличия засмеяться. Старик Руо обнял будущего зятя. Заговорили о денежных делах; времени было, впрочем, довольно, так как благопристойность требовала отложить свадьбу до конца траура по первой жене, то есть до весны будущего года.

Зима прошла в этом ожидании. Барышня Руо занялась приданным. Часть его была заказана в Руане; и еще она сама нашла себе рубашек и ночных чепчиков по модным журналам, которые брала на подержание. Когда на ферму приезжал Шарль, говорили о приготовлениях к торжеству, обсуждали, в какой комнате накрыть свадебный стол, мечтали, сколько будет блюд и что подадут для начала.

Эмма, напротив, желала бы венчаться в полночь, при факелах; но дяде Руо эта затея была совершенно непонятна. Итак, свадьбу сыграли честь честью: присутствовало на ней сорок три человека гостей; за столом сидели шестнадцать часов; празднество возобновилось на другой день и продолжалось еще несколько дней сряду.

IV

Гости съехались спозаранку в разнообразных экипажах — в одноколках, таратайках, старых тарантасах без откидного верха, в рыдванах с кожаными занавесками; а парни из соседних деревень — в телегах, на которых они стояли рядом, держась руками за края, чтобы не упасть, пуская лошадей рысью и выдерживая жестокую тряску. Некоторые прибыли из мест, отстоящих на десятки верст, — из

Годервиля, из Норманвиля и из Кани. Созваны были все родственники жениха и невесты; с друзьями, с которыми вышла ссора, возобновлены связи; знакомым, давно потерянным из виду, посланы письменные приглашения.

Время от времени за изгородью слышалось шелканье бича; заборы раздвигались: на двор въезжала повозка. Подкатив к нижней ступеньке крыльца, она круто останавливалась: из нее, справа и слева, выбирался народ, потирая колени и разминая плечи. Женщины были в чепцах, в платьях городского покроя, при часах на золотых цепочках, в пелеринах со скрещенными у пояса концами или в цветных косынках, приколотых на спине булавкой и обнажавших сзади шею. Подростки, одетые как их папаши, чувствовали себя, казалось, неловко в своих новеньких фраках (в тот день многие из них впервые в своей жизни обновили сапоги); а рядом с ними, затаив дыхание, в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и ныне удлинненном, конфузилась четырнадцатилетняя или шестнадцатилетняя девица, без сомнения их кузина или старшая сестра, краснолицая, оторопелая, с жирными от розовой помады волосами и очень боящаяся запачкать свои перчатки. Так как не хватало конюхов, чтобы распрячь все повозки, то владельцы их, засучив рукава, принимались за дело сами. Сообразно различию общественного положения, они были одеты во фраки, в сюртуки, в пиджаки, в куртки: добротные фраки, пользовавшиеся уважением всей семьи и вынимавшиеся из шкафа только в торжественных случаях; сюртуки с длинными полами, развеваемыми ветром, с цилиндрическими воротниками, с широкими, как мешки, карманами; пиджаки из толстого сукна, обычно сопровождаемые фуражками с медным ободком на козырьке; полуфраки с двумя пуговицами на спине, посаженными рядом, словно пара глаз, и фалды которых казались обрубленными топором плотника. Некоторые из гостей (но эти люди сидели уже, разумеется, на нижнем конце стола) были в парадных блузах, то есть блузах с отложными воротниками, с мелкими складочками на спине и низко подпоясанные матерчатым поясом.

А крахмальные сорочки на груди надувались, как латы! Все мужские головы были только что острижены, уши оттопыривались, подбородки были гладко выбриты; иные встали до зари и, бреясь в темноте, понаделали себе шрамов в виде диагонали под носом и на щеках или ссадин на коже величиною с трехфранковую монету, покрасневших дорогой на ветру, отчего все эти белые, толстые, расцветшие радостью лица были испещрены розовыми пятнами, словно жилками мрамора.

Так как мэрия находилась всего в полуверсте от фермы, туда отправлялись пешком и пешком вернулись домой по окончании обряда

в церкви. Шествие, сначала сплошной цветной лентой извивавшееся по полям вдоль узкой межи между зелеными хлебами, вскоре растянулось и разбилось на отдельные замешкавшиеся за разговором кучки людей. Музыкант шел впереди со скрипкой, разукрашенной пестрыми бантами; за ним следовали новобрачные, родители, знакомые вперемешку, а позади, отставая, шли дети, срывали, забавляясь, колосья овса, втихомолку шалили. Платье Эммы, слишком длинное, волочилось по земле; порой она останавливалась, приподымая его, и тонкими пальчиками в перчатках отряхала с подола сухие былинки и колючки репейника, между тем как Шарль, опустив руки, ждал, пока она кончит. Дядя Руо, в новом цилиндре и во фраке, обшлага которого покрывали ему руки до ногтей, вел под руку госпожу Бовари-мать. Что касается Бовари-отца, презиравшего, в сущности, весь этот люд и явившегося запросто в однобортном сюртуке военного покроя, — он отпускал рискованные любезности молодой белокурой крестьянке, которая приседала, краснела и не знала, что отвечать. Остальные гости толковали о делах или подталкивали друг друга в спину, заранее подбодряясь к разгулю. Прислушавшись, все время можно было различить гудение и треньканье скрипки, продолжавшей играть среди полей. Когда скрипач замечал, что гости далеко отстали, он останавливался, переводил дух, долго натирал смычок канифолью, чтобы струны визжали громче, потом трогался дальше, то поднимая, то опуская ручку своей скрипки, в такт шагал; пиликанье скрипицы уже издали спугивало птичек.

Стол был накрыт в сарае. На нем возвышались четыре жарких, шесть фрикасе из цыплят, тушеная телятина, три бараньих ноги, посредине — хорошенский жареный молочный поросенок, окруженный четырьмя колбасами, под щавелем, а по углам — графины с водкой. Сладкий сидр в бутылках вскипал густою пеной вокруг пробок, и все стаканы заранее были до краев наполнены вином. Огромные блюда с желтым кремом дрожали при малейшем толчке; на гладкой их поверхности завитушками из леденца были выведены вензеля новобрачных. Для тортов и миндального теста выписали кондитера из Ивето. Так как он выступал в этих местах в первый раз, то все изготовил старательно и за десертом сам подал свадебный пирог, вызвавший громкие восклицания. Основанием его служил четырехугольник из синего картона, изображавший храм с выступами, колоннадами и лепными статуями в углублениях, усеянных звездами из золотой бумаги; второй ярус составляла башня-торт, окруженная бойницами из цукатов, миндаля, изюма, апельсиновых ломтиков; и наконец, на верхней площадке — подобие зеленого луга со скалами, озерами из варенья и лодочками из ореховой скорлупы — маленький амур качался на шоколадных качелях, столбы которых расцветали двумя бутонами живых роз.

Угощались до самого вечера. Устав от долгого сидения, шли прогуляться по двору или сыграть партию в пробки в риге, а потом опять садились за стол. Несколько человек к концу обеда захрапели. Но за кофе все оживилось; гости затянули песни, стали состязаться в силе и ловкости, поднимали тяжести, показывали при помощи большого пальца фокусы, пробовали взваливать на плечи телеги, говорили непристойности, целовали женщин. Вечером, перед разездом, лошади, наевшиеся овса по горло, не хотели становиться в оглобли: брыкались, вставали на дыбы, рвали сбрую; их хозяева ругались или хохотали; и всю ночь, при свете луны, по окрестным дорогам неслись вскачь таратайки, взлетая на рытвинах, перемахивая через кучи булыжника, задевая за придорожные кусты; женщины высовывались за дверцы и схватывали вожжи.

Оставшиеся в Берто всю ночь напролет пировали на кухне. Дети уснули под лавками.

Новобрачная умоляла отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее родственник, рыбный торговец (он в виде свадебного подарка привез даже две камбалы), собирался было прыснуть водой сквозь замочную скважину свадебного покоя; как раз вовремя подоспел папенька Руо, чтобы его остановить и разъяснить ему, что почтенное положение его зятя не допускает подобных неприличий. Немалого труда стоило отговорить родственника; в душе он осудил Руо за чванство и спесь и сел в угол к четырем-пяти гостям, которые — так как им, по несчастной случайности, несколько раз кряду достались за обедом худшие куски мяса — были равно недовольны приемом, шушукались насчет хозяйина и обиняками желали ему разориться.

Госпожа Бовари-мать целый день не разжимала губ. С нею не советовались ни о туалете невестки, ни об устройстве обеда. Она удалилась рано. Ее супруг, вместо того чтобы проводить ее, послал за сигарами в Сен-Виктор и курил до рассвета, потягивая грог, изготовленный из кирша, — напиток, дотоле неизвестный присутствующим и упрочивший их уважение к господину Бовари.

Шарль на шутки был не горазд и ничем не блеснул за свадебным обедом. Он отвечал весьма ненаходчиво на остроты, каламбуры, двусмысленности, любезности и развязные подтрунивания, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с первого блюда.

На другой день зато он казался другим человеком. Скорее его, чем жену, можно было принять за новобрачную, еще вчера — красную девушку; глядя на молодую, напротив, нельзя было подметить ни малейшей перемены. Завязтые насмешники не знали, что им изобрести, и, когда она проходила мимо, тщетно напрягали все свое остроумие. А Шарль ничего не маскировал. Он называл ее женой, говорил ей «ты», осведомлялся о ней у каждого, поминутно

искал ее и уводил в глубь двора, где вдалеке, за деревьями, было видно, как он обнимает ее за талию и ходит, склонясь над ней, прижимаясь головой к вырезу ее лифа.

Через два дня после свадьбы супруги уехали: Шарль не мог покинуть надолго больных. Руо дал молодым своих лошадей и сам проводил их до Вассонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, спрыгнул и пошел своей дорогой. Пройдя шагов сто, он остановился и, посмотрев вслед удаляющейся таратайке, за колесами которой поднималась пыль, тяжело вздохнул. Ему вспомнилась собственная свадьба, прошлая жизнь, первая беременность жены; он тоже был очень весел в тот день, как увозил ее от ее отца к себе, и она сидела за его седлом, а лошадь рысцой бежала по снегу: это было перед самым Рождеством и все поля были белы; она держалась за него одною рукой, а на другой висела ее корзиночка; ветер раздувал длинные кружева ее нормандского головного покрывала, и они задевали его по губам, и, оборачиваясь, он видел за своим плечом ее розовое личико, молчаливо улыбающееся, и золотую бляху на ее волосах. Чтобы согреть руки, она клала их ему порой за пазуху. Как все это было давно! Сыну их было бы теперь тридцать лет. Тут он опять оглянулся и ничего уже не увидел на дороге. Грустно стало на душе, как в опустелом доме; нежные воспоминания перемешивались с черными думами в мозгу, отуманенном недавней пирушкой; ему захотелось на минуту прогуляться к церкви, взглянуть на могилу. Но он побоялся, что это нагонит на него еще пуще грусть, и зашагал прямо домой.

Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к шести часам. Соседи высунулись из окон — взглянуть на молодую жену лекаря.

Вышла старая служанка, пожелала счастливого приезда барыне, извинилась, что обед еще не готов, и предложила осмотреть покуда дом.

V

Кирпичный дом выходил лицевою стороною прямо на улицу, вернее — на дорогу. За дверью висел плащ с капюшоном, уздечка, черная кожаная фуражка, а в углу валялась на полу пара заброшенных голенищ, еще покрытых засохшею грязью. Направо была зала, то есть комната, где обедали и сидели. Канареечного цвета шпалеры, оттененные вверху блеклой гирляндой цветов, колыхались по всей стене на плохо натянутом холсте; белые коленкоровые занавески, окаймленные красной тесьмой, скрещивались на окнах; на узкой каминной доске красовались часы, с головою Гиппократ, между двумя подсвечниками накладного серебра под овальными

стеклянными колпаками. По другую сторону коридора помещался кабинет Шарля; это была комнатка в шесть шагов шириною, где стояли письменный стол с креслом и три стула. Тома «Словаря медицинских наук», неразрезанные, но порастрепавшиеся от всех испытанных ими перепродаж, заполняли почти все шесть сосновых библиотечных полок. Запах кухонной гари проникал сквозь стену кабинета во время приема, а из кухни слышны были кашель больных и вся их повесть болезней. Следовала с выходом прямо на двор, к конюшне, большая ободранная комната с печью для хлебов; она служила теперь и дровяным сараем, и кладовою, и складом всякого хлама — старого железа, пустых бочек, земледельческой рухляди и множества других вещей, покрытых пылью, назначение которых угадать было трудно.

Длинный и неширокий сад тянулся, между двух глиняных оград со шпалерами абрикосов, вплоть до терновой изгороди, отделявшей его от поля. Посреди сада устроены были шиферные солнечные часы на каменном пьедестале; четыре грядки с тощим шиповником симметрично окружали менее бесполезный квадрат, засаженный серьезными растениями. В глубине сада под сосенками алебастровый поп читал свой служебник.

Эмма поднялась наверх, в жилые комнаты. Одна была пуста; в другой — это и была супружеская спальня — стояла кровать красного дерева в алькове с красным пологом. Коробочка из раковин украшала комод; а на маленьком письменном столе, у окна, стоял в графине букет померанцевых цветов, перевязанный белым атласом. То был свадебный букет — той, другой! Эмма посмотрела на него. Шарль заметил ее взгляд, взял букет и отнес его на чердак, а Эмма, сидя в кресле (вокруг раскладывали ее вещи), думала о своем свадебном букете, уложенном в картон, и спрашивала себя, что-то с ним сделают, если она вдруг умрет.

Первые дни ушли у нее на обдумывание разных преобразований в доме. Она сняла стеклянные колпаки с подсвечников, велела оклеить залу новыми обоями, выкрасить лестницу и поставить скамейки в саду, вокруг солнечных часов; советовалась даже, нельзя ли устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Муж, зная, что она любит кататься, купил по случаю шарабанчик; когда к нему приделали новые фонари и простроченные кожаные крылья, он стал похож на настоящее тильбюри.

Итак, он был счастлив и не заботился ни о чем на свете. Обед вдвоем с нею, прогулка вечером по большой дороге, движение ее руки, когда она оправляла волосы, вид ее соломенной шляпы, вившейся на оконной задвижке, и многое другое, прелести чего Шарль прежде и не подозревал, слагалось для него теперь в одно непрерывное наслаждение. Лежа по утрам в постели близ нее — голова

с головой на одной подушке, — он смотрел, как солнечный свет золотит легкий пушок на ее щеках, полуприкрытых краями ночного чепчика. Он разглядывал ее близко-близко, и тогда ее глаза казались ему огромными, — особенно в те минуты, когда она, просыпаясь, несколько раз подряд поднимала и опускала веки; черные в тени и синие при дневном свете, они словно состояли из нескольких слоев краски, густой на дне и более светлой на поверхности. Его взгляд тонул в этих глубинах, и он видел там, в уменьшенном отражении, себя самого до плеч, с повязанной фуляром головой и с расстегнутым воротом рубашки. Он вставал. Она подходила к окну, провожая его взглядом; облокотясь на подоконник, между двумя горшками герани, она стояла в своем широком свободном пеньюаре. Шарль на улице, опершись ногою о тумбу, пристегивал шпоры; она говорила что-то сверху, срывая губами лепесток цветка или стебелек зелени, дула — и стебелек летел, останавливался, кружил в воздухе, как птица, и, прежде чем упасть, цеплялся за нечесаную гриву старой белой кобылы, недвижимой у крыльца. Шарль, уже верхом, посылал ей поцелуй; она отвечала ему знаком, затворяла окно, он уезжал. И потом, на большой дороге, протянувшейся бесконечною пыльною лентою, на узких выбитых проселочных тропках, над которыми деревья смыкались сводом, по межам, где хлеба доходили ему до колен, под солнцем, попригревшим ему спину, вдыхая ноздрями утренний воздух, с душою, полною счастья ночи, ощущая спокойствие духа и довольство плоти, ехал он и пережевывал свое счастье, подобно людям, которые еще долгое время после обеда смакуют вкус съеденных трюфелей.

До этой поры что хорошего испытал он в жизни? Хорошо ли жилось ему в годы гимназии, запертому в четырех высоких стенах, одинокому в толпе товарищей, которые были или богаче, или способнее его, хохотали над его деревенским говором, поднимали на смех его костюм и получали из маменькиных муфт в приемной сладкие пирожки? Лучше ли жилось и позже, когда он изучал медицину, а в его кошельке не было даже нескольких су, чтобы позволить себе поплясать с какой-нибудь бедненькой швейкой, ставшей его любовницей! Потом он четырнадцать месяцев прожил со вдовой, у которой ноги в постели были холодны, как льдины... А теперь — и уже на всю жизнь — он обладатель обожаемой красавицы! Мир для него был ограничен шелковым подолом ее юбки; и все же он корил себя, что недоволен ее любит, торопился вновь ее увидеть, бежал домой, с замиранием сердца всходил на лестницу. Эмма сидела в своей комнате за туалетом; он подкрадывался сзади, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Он не мог удержаться, чтобы поминутно не трогать ее гребенку, ее кольца, ее козынку; иногда он изо всех сил целовал ее в щеку,

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСПОЖА БОВАРИ. <i>Перевод А. Чеботаревской</i>	5
САЛАМБО. <i>Перевод Н. Минского</i>	267
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ. <i>Перевод А. Федорова</i>	491

Литературно-художественное издание

ГЮСТАВ ФЛОБЕР
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ответственная за выпуск Галина Соловьева
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Алексея Положенцева
Корректоры Людмила Ни, Валерий Камендо, Анна Быстрова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 27.04.2018. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 53. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru
В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru
В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru
Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-AMS-10257-03-R